

НЕСУЩАЯ СТЕНА

ОЛЬГА ЧИСТЯКОВА

РОМАН



Ольга Чистякова

Несущая стена

«Автор»

2026

Чистякова О.

Несущая стена / О. Чистякова — «Автор», 2026

Марине сорок три. На ней держится всё, работа, дочь-подросток, закрывшаяся за своей дверью, угасающая от деменции мать, даже бывший муж, который до сих пор пишет ей по ночам, когда что-то теряет. Марина несущая стена, та, к кому идут все и кого не спрашивает никто. Она носит чужие тяжести так привычно, что уже и забыла, каково это жить для себя. Всё меняется однажды утром, у невскипевшего чайника, когда в ней проходит первая трещина. И эта трещина оказывается началом не конца, а жизни.

© Чистякова О., 2026

© Автор, 2026

Ольга Чистякова

Несущая стена

НЕСУЩАЯ СТЕНА

роман

Ольга Чистякова

* * *

*Тем, кто держит всех,
и кого не спрашивает никто.*

* * *

«Кто держит того, кто держит всех?»

* * *

Аннотация

Марине сорок три, и на ней держится всё, работа, дочь-подросток, угасающая мать, даже давно ушедший муж. Она и есть несущая стена, та, к кому идут все и кого не спрашивает никто. Пока однажды утром, у невскипевшего чайника, в ней не проходит первая трещина.

Роман о женщине, которая всю жизнь держала других и разучилась жить сама, о том, как рушится и заново собирается человек, о поздней любви, о наследуемом из поколения в поколение страхе и о тихом мужестве однажды опустить руки. О том, что даже в сорок пять, разобрав стену, можно построить дом, и что никогда не поздно начать заново.

* * *

Часть первая. Стена

Глава первая. Трещина

Темнота в её комнате была той особенной, петербургской, ноябрьской темнотой, которая не спешит уступать место утру, потому что и утро здесь, только чуть более светлая разновидность ночи. Марина лежала в этой темноте с открытыми глазами уже минут десять, не потому что проснулась, а потому что так и не научилась спать до конца. Сон её давно стал похож на дежурство, она не отдыхала, она несла караул, и какая-то её часть всю ночь стояла на посту, вслушиваясь в дом, не заплачет ли, не позовёт ли, не случится ли.

Телефон зазвонил в шесть сорок, ещё до будильника. Она сняла трубку прежде, чем открыла глаза, рукой, которая знала дорогу к тумбочке в темноте лучше, чем сама Марина знала дорогу к себе.

«Мам.» Голос Даши был плоским от паники, той утренней, семнадцатилетней паники, из-за которой рушится не жизнь, а всего лишь день. «Я не могу найти пропуск. Я его вчера... я не знаю, где он.»

«В синей куртке. Внутренний карман, на молнии.» Марина уже сидела, спустив ноги на холодный пол, тело поднялось само, раньше решения, как поднимается по тревоге пожарный. «Ты положила его туда, когда мы вернулись из поликлиники.»

Пауза. Шорох в трубке. Выдох.

«Нашла.»

«Завтрак на второй полке. Не забудь ключи.»

Она положила трубку и минуту сидела в темноте, с тем странным, знакомым до оскомины ощущением, будто уже совершила что-то важное и трудное и теперь имеет право... на что? Ни на что. Просто сидела. За окном, во дворе-колодце, горел один-единственный фонарь, и в его свете наискось падал первый снег; мелкий, неуверенный, из тех, что ещё не знают, лягут они или растают.

Другая половина кровати была холодной и гладкой. Марина давно перестала заваливать её книгами и вещами, как делают иные женщины, чтобы не чувствовать пустоты рядом. Она не заваливала. Пустота была фактом, а факты Марина уважала. Полтора года назад Игорь собрал две сумки, сказал несколько слов, которые она тогда пропустила мимо ушей, а теперь, оказывается, помнила наизусть, и ушёл. С тех пор эта половина кровати была просто холодной. Как всякая поверхность, на которой никто не лежит.

Она встала. Дом ещё спал, то есть спала Даша за одной стеной, мать в те дни ещё жила у себя, на другом конце города, и о том, что совсем скоро будет спать за третьей стеной этой самой квартиры, Марина пока не знала, и слава Богу, потому что если бы знала, то, может, не встала бы вовсе.

К семи она была уже собрана. Не одета, именно собрана, как собирают чемодан перед долгой дорогой: всё нужное внутри, ничего не торчит, замок защёлкнут. Она варила кофе и, пока он поднимался, делала то, что делала каждое утро, раскладывала мир по местам.

На столе стояла пластиковая коробочка с семью крышечками, по дням недели: таблетки для матери. Марина завозила их по вторникам, разложенные заранее, чтобы мать не путалась, хотя мать уже начинала путаться так, что никакие крышечки не спасали, но Марина не хотела ещё этого признавать и продолжала раскладывать, аккуратно, по дням, будто аккуратностью можно удержать распадающийся ум. Рядом лежал список на сегодня. И ещё один список, отдельный, которого не должно было быть, список для Игоря. Полтора года как не её забота, полтора года как чужой муж, а список всё равно составлялся сам собой, по привычке, которую не смогли отменить ни развод, ни гордость. «Игорю страховка, шины, позвонить по гаражу». Она писала эти строчки, зная, что не отправит, писала в пустоту, как молитву неверующего.

За утро телефон ожил ещё дважды. Сначала подчинённый, совсем молодой, из тех, кто пишет начальству в семь утра, потому что не спал всю ночь над тем, что можно сделать за час, если бы кто-нибудь показал как. «Марина Сергеевна, простите, а Вы не глянете...» Она глянула. Ответила. Потом соседка матери, Валентина Петровна, с чем-то мелким и тревожным, мама вчера дважды спрашивала, какой сегодня день. Марина сказала, что заедет, что всё в порядке, что спасибо, и почувствовала, как к длинному списку сегодняшнего дня прибавилась ещё одна невидимая строчка, из тех, что не пишут, но носят.

Так было всегда. Она была тем человеком, к которому идут, когда не знают, к кому идти. К ней шли с работы и из дома, шли дочь, мать, бывший муж, коллеги, соседи, шли так же естественно, как течёт под уклон вода, потому что она была самой нижней точкой, тем местом, куда всё стекается и где всё как-то само собой разрешается. Когда-то ей это даже нравилось. Она путала это с тем, что её любят.

В окне поднимался серый петербургский рассвет, из тех, что не столько светлеют, сколько разбавляются, как чай, в который долили слишком много воды. Город за стеклом просыпался нехотя, где-то заскрежетал первый трамвай, где-то хлопнула дверь парадной, дворник внизу заскреб лопатой по асфальту тот самый неуверенный снег, который так и не решил, лечь ему или растаять.

Она поставила чайник и стала ждать, когда закипит.

И вот тут это и случилось.

Не гром. Не боль. Ничего, что можно было бы показать врачу или назвать словом. Просто она стояла у плиты, смотрела на воду, которая никак не хотела закипать, и вдруг поняла, что не может вспомнить, зачем встала.

Не «что дальше по списку» это она помнила прекрасно, список был при ней, в ней, она вся была один сплошной список. А зачем. Зачем всё это держать. Зачем эти таблетки по крышечкам, эти пропуска в синих куртках, эти чужие письма в семь утра, эта холодная половина кровати, этот распадающийся, как мокрый снег, мир, который она одна почему-то обязана была не давать распасться.

Ноги вдруг сделались чужими. Она взялась за край столешницы, не потому что падала, нет, она стояла твёрдо, а потому что впервые за сорок три года ей стало непонятно, на чём вообще стоит человек. Кухня была та же. Пол был на месте, надёжный, кафельный, чуть липкий у плиты. Но опоры не было. Как будто всю жизнь она была стеной, на которую опирается дом, держала перекрытия, потолки, чужие этажи, и только сейчас, в шесть пятьдесят восемь утра, у невискипевшего чайника, впервые задалась вопросом, от которого стенам положено быть избавленными: а на что опирается сама стена?

Кто держит того, кто держит всех?

Чайник вскипел и щёлкнул, и звук этот, обыкновенный, домашний, вернул её, не до конца, но настолько, чтобы не упасть.

Марина не двинулась.

Потом, конечно, двинулась. Выключила газ. Налила кофе. Выпила стоя, обжигаясь, торопясь, потому что времени, как всегда, не было. К половине восьмого лицо было уже в порядке, она умела приводить лицо в порядок так же быстро, как на ходу разглаживают ладонью помятую блузку. Стены ведь не рассказывают о трещинах. Они держат, пока держится штукатурка, а трещина идёт внутри, тихая, никому не видная, год за годом, миллиметр за миллиметром, пока в один прекрасный день дом не решит, без предупреждения, что довольно, что пора.

Она этого ещё не знала. Она думала, что просто не выпалась.

Марина взяла ключи, оба списка и коробочку с таблетками, оделась, привычно, не видя, глянула на себя в зеркало в прихожей и вышла из дома, аккуратно, чтобы не разбудить соседей, притворив за собой тяжёлую дверь.

Снег во дворе так и не решился. Он всё падал и падал, косо, в свете единственного фонаря, и таял, едва коснувшись земли, и в этом было что-то до того похожее на её собственную жизнь, что Марина, если бы умела ещё замечать такие вещи, наверное, остановилась бы. Но она не умела. Она спешила. У неё был впереди день, полный чужих дел, и она была та, кто их делает.

Работа в тот день была обычной, то есть такой, какой была всегда, а значит, незаметно съедающей человека без остатка. Марина не любила слова «выгорание», ей казалось, оно годится для тех, кто горел. А она не горела. Она просто работала, тихо, ровно, как работает механизм, у которого не спрашивают, устал ли он. Работа не давила на неё, как давит камень, она просачивалась, как вода, заполняя собой всё, куда пускали, а пускали её всюду. К одиннадцати она уже погасила чужой конфликт в переписке, переписала за подчинённого письмо, которое нельзя было отправлять в том виде, в каком он его сочинил, и пообещала клиенту то, что придётся потом вымучивать самой, ночами. Никто её об этом не просил. Просто она была тем человеком, к которому идут, когда не знают, к кому идти. Когда-то, давно, ей это льстило. Она принимала это за любовь, так ребёнок принимает за любовь то, что в нём нуждаются.

Во вторник после обеда, как всегда по вторникам, она поехала к матери, через весь город, через мосты, через реку, серую и тяжёлую под серым небом, мимо львов, мимо решёток, мимо всей этой холодной петербургской красоты, которую давно уже не замечала, красоту замечает тот, у кого есть на неё свободная минута, а у Марины свободных минут не было с девяти лет.

Мать жила на Петроградской, в старом доме, в квартире, где Марина выросла и где каждый угол помнил её маленькой. Тамара Ивановна открыла дверь раньше, чем Марина успела достать ключ, стояла в проёме, маленькая, ссохшаяся, в застёгнутой на все пуговицы кофте, будто ждала здесь, у двери, давно, может быть, с самого утра.

«Ну наконец-то. Я думала, ты уже не приедешь.»

«Мам, сегодня вторник. Я всегда во вторник.»

«Мало ли что всегда,» сказала мать с той старицовой обидой, в которой нет логики, а есть только страх, что о тебе забудут.

В квартире пахло так, как пахнет старость, когда селится в доме надолго, валокордином, залежавшимся бельём, вчерашним супом. Марина прошла на кухню, ту самую, где когда-то, в девять лет, варила комковатую кашу, достала из сумки коробочку с крышечками и стала раскладывать таблетки по дням, понедельник, вторник, среда. Мать села напротив и смотрела, как она это делает, с тем выражением, которое Марина знала всю жизнь и никак не могла назвать. Не благодарность, благодарность смотрит иначе. Что-то вроде спокойного, врождённого права, так смотрит на кормящую руку тот, кто ни секунды не сомневается, что рука эта для него и существует.

«У соседки-то дочь совсем от рук отбилась,» сказала мать, следя за её пальцами. «Не звонит, не ездит. А я ей говорю, у меня Марина» кремень. На ней всё держится. Что бы я без тебя делала, Мариночка.

Она сказала это с такой простой, ясной любовью, что Марина в первую секунду ничего не почувствовала. А потом почувствовала, как под этой любовью, глубоко, что-то тихо просело внутри. Та самая утренняя трещина, о которой не знал никто. «На ней всё держится». Сорок с лишним лет она слышала это как высшую похвалу, как орден на грудь. «Кремень». «Надёжная». «На тебе всё держится». Она гордилась этими словами, жила ради них, строила себя под них. И только сегодня, в шесть пятьдесят восемь утра, у невискипевшего чайника, впервые заподозрила, что это была не похвала. Что всю жизнь ей говорили не «мы тебя любим», а «неси». И что она приняла второе за первое, потому что другого просто не знала.

«Мам, ты таблетки утром пила?»

«Пила.» Пауза. Взгляд ушёл куда-то в сторону, в окно, в серый двор. «Или не пила. Голова с утра кружилась, я прилегла. А ты разве говорила, что придёшь сегодня?»

Марина подняла глаза. Мать смотрела на неё ясно, спокойно, чуть обиженно и не помнила, совершенно не помнила, что задала этот самый вопрос десять минут назад, у двери. По спине у Марины прошёл знакомый уже холодок; тот же, что и ночью, только медленнее.

«Говорила, мам,» сказала она ровно. «Я во вторник всегда.»

Она доложила последние таблетки, закрыла коробочку, щёлкнула крышечками. Руки делали привычное, спокойное дело, а внутри поднималось, медленно, как поднимается холодная вода в затопляемом подвале, то, чего она пока не смела назвать словом. Не «маме плохо» это было бы слишком просто, слишком снаружи. А другое, страшное, изнутри, стена, на которую опиралась всю жизнь она сама, единственная её опора, её мать, тоже пошла трещинами. И если рухнет и эта стена, то на что тогда опереться той, что держит всех?

Она посмотрела на мат, маленькую, путающуюся, любимую и вдруг ей нестерпимо, до дрожи в горле, захотелось сделать то, чего она не делала ни разу за сорок три года. Сесть напротив, взять эти сухие старые руки в свои и сказать, мам, мне тяжело. Мне очень тяжело, мама. Мне страшно. Спроси меня хоть раз, как я. Подержи меня хоть минуту так, как я держу тебя всю жизнь.

«Суп будешь?» спросила мать, поднимаясь. «Я вчера сварила. Кажется, вчера. Или позавчера.»

Марина сглотнула то, что подкатило к горлу, и загнала его обратно, глубоко, туда, где хранилось всё несказанное за сорок три года.

«Буду, мам,» сказала она.
И осталась есть суп.

Глава вторая. Ночь

Домой Марина возвращалась затемно, впрочем, в ноябре в Петербурге все возвращаются домой затемно, света в эту пору городу отпускают самую малость, будто по карточкам, и человек привыкает жить между двумя темнотами, утренней и вечерней, как между двумя стенами узкого коридора. Она шла от метро через двор, мимо детской площадки, где никто не играл, мимо мусорных баков, мимо чужих освещённых окон, за которыми угадывалась чужая, вероятно тёплая, вероятно простая жизнь, и несла в себе усталость целого дня так, как носила всё незаметно, не расплёскивая, чтобы никого не обеспокоить своим весом.

Лифт опять не работал, и она поднялась пешком, на свой этаж, и открыла дверь в квартиру, где её ждала дочь, хотя «ждала» было не то слово.

Даша была дома. То есть телом дома, а так неизвестно где. Сидела на кухне с телефоном, в наушниках, поджав под себя одну ногу, и когда Марина вошла, подняла на секунду глаза и тут же опустила так поднимают и опускают шлагбаум перед чужой машиной.

«Ела?» спросила Марина.

«Ага.»

И это «ага» означало «нет». Марина знала точно, в раковине стояла одна кружка, на плите не было ничего, а нарезанный утром хлеб лежал ровно так, как она его оставила.

Она поставила сумку, сняла пальто, вымыла руки. Квартира жила странной жизнью, будто в ней кто-то есть и одновременно нет никого. Год назад здесь ещё было шумно, Даша водила подруг, хохотала, музыка гремела из-за двери так, что Марина стучала кулаком в стену. Теперь дверь в Дашину комнату была почти всегда закрыта, а за ней тишина, набитая чем-то плотным, отгороженным, подростковым. Марина не знала, что там, за этой дверью, происходит с её дочерью, и это незнание было, пожалуй, самым больным из всего, что она в те дни носила. Болью особой, тихой, без адреса, пожаловаться некому, предъявить нечего. Дочь жива, здорова, учится, не грубит сверх меры. Просто ушла куда-то внутрь себя и закрыла дверь. Как когда-то, давным-давно, закрыла такую же дверь сама Марина, в девять лет. Только Марина закрыла её от горя, а Даша, кажется, просто выросла. Хотя кто их разберёт, эти двери, и кто скажет, от чего они на самом деле закрываются.

Она достала сковороду. Не потому что Даша просила, Даша давно уже ничего не просила словами, только присутствием, тяжёлым, требовательным подростковым присутствием, которое ничего не говорит и всё требует. Марина разбила яйца, порезала помидор. Спиной, не оборачиваясь, она чувствовала дочь так же ясно, как чувствовала её когда-то младенцем, через стену, во сне, тем древним материнским слухом, который включается один раз, при рождении ребёнка, и не выключается уже никогда, до самой смерти, а говорят, что и после.

«Как в школе?» спросила она, чтобы что-нибудь спросить.

«Нормально.»

«Что по истории вышло?»

«Мам.» Даша сняла один наушник, ровно один, будто делая большое одолжение. «Всё нормально. Отстань, а.»

Раньше Марина сказала бы что-нибудь. Про тон, про уважение, про «я весь день на ногах, а ты». Теперь она молча поставила перед дочерью тарелку. Даша посмотрела на еду, ту самую, которую якобы уже съела, и, не поблагодарив, не подняв глаз, второго наушника не сняв, начала есть. И этого маленького, молчаливого, полусогласного согласия поесть Марине хватило, чтобы внутри что-то отпустило и потеплело. Так мало ей теперь надо было, чтобы почувствовать себя нужной. Тарелка, съеденная угрюмым подростком. Найденный по теле-

фону пропуск. Крышечка с таблетками. На таких крохах она и жила, как живёт на подаянии тот, кто когда-то сам кормил всех.

Даша ушла к себе рано, закрыла дверь, вскоре из-под неё потянуло тем неровным синеватым светом, каким светятся в темноте экраны. Марина прибралась на кухне быстро, тщательно, как всегда, потому что беспорядок переносила хуже усталости, и легла во втором часу.

Она давно уже не спала, как спят люди. Она отключалась, так выключают свет в комнате, из которой уходят, привычным движением у двери, не глядя. Но в эту ночь свет не выключался. Она лежала в темноте, слушала, как за стеной ворочается дом, как гудят где-то далеко трубы, и сон не шёл, а вместо сна поднималось изнутри что-то мутное и тяжёлое, чему она не знала названия.

Телефон дёрнулся на тумбочке. В темноте экран вспыхнул белым, резко, как вспышка. Игорь.

«Не помнишь, где полис на машину? Не могу найти. И тёща звонила, жаловалась, что ты редко к ней ездешь. Ты бы съездила».

Марина смотрела на эти строчки в темноте, и в груди поднималось знакомое, тяжёлое, тёмное. Полтора года. Он ушёл к другой, к молодой, к лёгкой, оставил ей дочь-подростка, ипотеку на эту квартиру и собственную, вернее её, мать в качестве «тёщи, которая жалуется». И всё равно, всякий раз, когда ему надо было что-то найти, писал ей. Ночью. Потому что она была тем местом, где всё находится. Несущей стеной чужого, уже давным-давно не её дома.

Она вспомнила, некстати, как всегда вспоминается самое ненужное, те слова, что он сказал, уходя, и которые она тогда пропустила мимо ушей, а теперь знала наизусть. Но об этом было ещё рано, она не готова была об этом думать. Она положила телефон экраном вниз, на холодное дерево тумбочки, и закрыла глаза.

И вот тогда, в тишине, это пришло по-настоящему.

Сначала сердце. Оно вдруг пошло не так, не быстрее даже, а как-то мимо, спотыкаясь, пропуская удары, будто кто-то внутри сбился со счёта и никак не мог поймать ритм заново. Марина прислушалась к нему и от того, что прислушалась, стало только хуже: сердце заметалось, как птица в комнате с закрытыми окнами. Потом кончился воздух. Не в комнате, в ней самой. Она вдыхала полной грудью, грудь послушно наполнялась, а толку не было никакого, будто воздух проходил насквозь и не засчитывался, будто между лёгкими и тем местом, где родится покой, кто-то перерезал провод. Руки похолодели и стали влажными. По спине прошёл холод, животный, древний. И ей показалось совершенно ясно, почти спокойно, что она сейчас умрёт. Вот здесь, в темноте, одна, в глухой предутренний час, пока дочь за стеной спит в синем свете экрана, а мать на другом конце города забывает, какой сегодня день, а Игорь ищет свой полис.

И самое страшное было не то, что она умирает.

Самое страшное было то, о чём она в эту минуту подумала.

Она подумала не «я не хочу умирать». Не «мне страшно». Не «господи, помоги». Она подумала, а кто тогда будет всё это держать?

Мать. Дашу. Ипотеку. Работу. Списки. Крышечки по дням. Кто?

Даже здесь, на самом дне собственного тела, задыхаясь в четвёртом часу ночи, с сердцем, бьющимся мимо, она беспокоилась не о себе. Она беспокоилась о том, на кого всё это рухнет, если рухнет она. И в этом, если бы она могла тогда взглянуть на себя со стороны, была вся её жизнь, сжатая в одну секунду, даже умирая, стена думает не о том, что умирает, а о том, кто будет держать потолок вместо неё.

Отпустило минут через двадцать, само, как отпускает прилив, дойдя до своей невидимой черты и повернув обратно. Так же необъяснимо, как пришло. Марина лежала мокрая, выжатая, оглушённая, и слушала, как сердце понемногу нащупывает потерянный ритм. За окном было ещё темно, до утра оставалась вечность. Она не знала, что у того, что с ней только что случи-

лось, есть имя; короткое, почти медицинское. Она решила, что переутомилась. Что нервы. Что надо просто взять себя в руки, и всё пройдёт.

Она всегда бралась за руки. Всю жизнь, сколько себя помнила, бралась за руки и держала. Только теперь, впервые, брать было нечем.

Глава третья. «А вы?»

Приступы стали приходить каждую ночь, будто у них завёлся собственный распорядок, аккуратный, как расписание электричек. Всегда в один и тот же глухой предутренний час, всегда одинаково, сначала сбивалось сердце, потом кончался воздух, потом накатывал этот ровный, ясный, ни на чём не основанный ужас, что вот сейчас конец. Марина научилась их переживать. Она вставала, садилась на край кровати, ставила босые ступни на холодный пол, почему-то от холода делалось чуть легче, будто холод напоминал телу, что оно ещё здесь, на земле, и ждала, считая про себя, пока прилив не дойдёт до своей невидимой черты и не повернёт. Минут двадцать. Иногда полчаса. Потом она ложилась и лежала с открытыми глазами до будильника.

А днём она была прежней. В этом и состояло её главное умение, отточенное за сорок с лишним лет, быть прежней. Никто и не заподозрил бы, что эта собранная, спокойная, всё успевающая женщина не спит третью неделю и каждую ночь встречается со своей смертью на краю кровати. Она приходила первой, уходила последней, отвечала на письма, гасила пожары, и лицо её было ровным, как хорошо оштукатуренная стена, по которой не видно, что за ней.

Она купила в аптеке успокоительное, из тех, что «на травах», в красивой коробочке, и не помогают совершенно, и пила его утром и вечером с тем особым чувством, что взяла ситуацию под контроль. Она вообще многое делала с этим чувством. Оно было почти как опора. Почти.

Работа держалась на ней так же незаметно и так же полностью, как всё остальное в её жизни. Формально у отдела был начальник, Пал Палыч, добродушный, рыхлый человек, умевший вовремя уйти на обед и вовремя вернуться, когда всё уже сделано. Фактически же отдел держала Марина. К ней шли с вопросами, с ошибками, с чужими долгами и своими слезами, она правила отчёты за тех, кто не умел, объясняла молодым то, что должны были объяснить им в институте, брала на себя разговоры с клиентами, которых боялись остальные. Была у неё, среди прочих, Света девочка лет двадцати пяти, толковая, но пугливая, из тех, кто при первой трудности прибегает не с решением, а с ужасом в глазах. Марина возилась с ней, как со всеми, терпеливо, надёжно, и Света смотрела на неё снизу вверх, как смотрят на что-то большое и несомненное, вроде колонны, которую и в голову не придёт пожалеть.

В ту среду, в третьем часу, Марина сидела на очередном совещании, Пал Палыч что-то говорил, размеренно, ни о чём, и делала вид, что слушает, а сама держалась изо всех сил, чтобы не закрыть глаза, ночь была тяжёлой, приступ длинный, и теперь голова гудела ватно, и слова начальника доносились будто из-под воды. И вот в эту вату, в эту полудрёму на грани обморока, и вошёл звонок.

Незнакомый номер. Марина, извинившись кивком, вышла в коридор.

«Мариночка, это Валентина Петровна, соседка мамина.» Голос был испуганный, старый, спотыкающийся. «Ты только не пугайся. Упала она. На кухне. Я услышала» стучит чем-то в стену, будто зовёт, «зашла, а она на полу, встать не может. «Скорую» я вызвала, уже приехали, увозят...»

Дальше Марина не помнила, как оказалась в машине. Не помнила, что сказала Пал Палычу, взяла ли сумку, как спустилась. Не помнила дороги, ни мостов, ни улиц, ничего. Помнила только руль под ладонями, гладкий, знакомый, и одну ровную, как натянутая струна, мысль, не сейчас. Что бы там ни поднималось внутри, весь этот ужас, вся эта подступающая к горлу ночная волна, не сейчас. Потом. Сейчас надо ехать. Сейчас надо держать. Она умела

откладывать себя на «потом» так же привычно, как откладывала непрочитанные письма, с той только разницей, что письма она всё-таки когда-нибудь читала, а себя нет.

В приёмном покое пахло тем, чем пахнут все больницы мира, хлоркой, лекарствами и чужой бедой, застоявшейся в этих стенах так плотно, что её, казалось, можно потрогать. Мать лежала на каталке в коридоре, под казённой простыней, маленькая, ещё уменьшившаяся от страха, и, увидев Марину, вцепилась ей в руку с неожиданной, отчаянной силой, так хватается тонущий.

«Мариночка. Забери меня отсюда. Я не помню, как упала.» И потом, тише, оглянувшись, будто стыдясь, с тем ужасом, какого Марина у неё никогда прежде не видела: «Я вообще... я вообще много не помню, Мариш. Проснулась утром и не сразу поняла, где я. В своей квартире не поняла. Что это со мной?»

Марина держала её руку и говорила то, что говорят в таких случаях, что всё хорошо, что она рядом, что сейчас посмотрит врач и всё наладится. Она была в этом мастер, говорить успокаивающее, ровное, не веря ни одному своему слову. А внутри у неё всё оседало, медленно и необратимо, как оседает грунт под фундаментом, она уже понимала, не умом ещё, а тем чутьём, каким мать чувствует беду ребёнка, только наоборот, что это начало. Что то, чего она боялась и о чём не позволяла себе думать, началось.

Врач вышла в коридор минут через сорок, женщина лет пятидесяти, усталая, с тем живым, невыгоревшим до конца лицом, какое ещё изредка встречается у тех, кто много лет смотрит на чужую боль и всё-таки не разучился её видеть. Перелома нет, сказала она, ушиб, обошлось. Но дело было не в падении, и обе они это понимали.

«Скажите,» врач говорила прямо, не смягчая, но и без холода, «вы замечали за мамой провалы? Забывает недавнее, повторяет одно и то же, путается во времени» какой день, какое число? Не узнаёт иногда знакомых, места?

«В последнее время,» сказала Марина. «Я думала, возраст. Ей всё-таки семьдесят девять.»

«Возраст, конечно, тоже. Но это не только возраст.» Врач глянула на снимки, потом на Марину. «По сосудам картина определённая. Точнее скажет невролог, обследоваться надо как следует. Но одно скажу вам прямо сейчас, потому что это важно, одну её оставлять уже нельзя. Совсем. Ни на день, а скоро» и ни на час. Плита, вода, лекарства, открытая дверь, газ «всё это теперь для неё опасно. Ей нужен постоянный человек рядом. Постоянно.»

Постоянный человек рядом. Марина кивала. А внутри у неё уже привычно, быстро, помимо воли включился тот самый счётчик, что работал в ней всегда, работа, не бросишь, ипотека, Даша, экзамены на носу, квартира, мамина квартира на Петроградской, что с ней, сиделка, сколько стоит в сутки, а на ночь, а если круглосуточно, а где взять такие деньги, а если самой, то как совместить, а спать когда... Всё это пронеслось в ней за секунду, беззвучно, как проносится знакомая дорога.

«Хорошо,» сказала она вслух. Спокойно. «Я справлюсь.»

И вот тут врач сделала то, чего не делал с Мариной никто уже очень, очень давно. Она помолчала, а потом посмотрела не на пациентку за дверью, не на бумаги, а на саму Марину. По-настоящему посмотрела. Увидела серое, недоспавшее лицо. Круги под глазами. Руки, которые Марина, сама не замечая, держала крепко сцепленными на сумке, чтобы не было видно, как они подрагивают.

«А вы?» спросила врач негромко. «У вас-то самой кто есть? Кто вам-то помогает всё это тянуть?»

И Марина, которая только что, не моргнув глазом, взвалила на себя круглосуточный уход за угасающей матерью в придачу ко всему, что уже несла, вдруг не нашлась, что ответить. Такой простой вопрос. «У вас кто есть?» Она открыла рот и с ужасом поняла, что честный ответ был бы, никто. Что стену не подпирает никто и никогда не подпирает. Что это она всем

опора, дочери, матери, бывшему мужу, отделу, Свете, соседке, а у неё самой нет ничего, кроме списков, привычки держать и холодного кафеля под босыми ступнями в четвёртом часу ночи.

Сказать это вслух было невозможно. Это значило бы обвалиться прямо здесь, в больничном коридоре.

«Я нормально,» сказала она. «Спасибо.»

Врач ещё секунду смотрела на неё так, будто хотела прибавить что-то ещё, но по опыту знала, что такие, как Марина, не слышат, пока не рухнут. Потом чуть кивнула, не то соглашаясь, не то прощаясь и ушла к другим дверям, за которыми ждали чьи-то другие опоры, такие же серые, с такими же сцепленными руками.

А Марина осталась стоять в пустом гулком коридоре, держась за собственные руки, и впервые за очень, очень долгое время ей мучительно, до слабости в коленях, захотелось не выдержать. Просто один раз. Сесть вот на этот жёсткий больничный стул у стены и не встать. Отпустить всё. Пусть падает.

Но встать было надо. За дверью ждала мать, которую нельзя больше оставлять одну. Дома ждала дочь. Впереди ждали недели, о которых она пока не догадывалась. Она же несущая. А если сядет несущая, сядет всё.

Марина оттолкнулась от стены и пошла оформлять бумаги.

Глава четвёртая. Кухонный пол

Мать переехала к ним в конце ноября. Другого выхода не было, и Марина, привыкшая просчитывать всё, просчитала и это холодно, как задачу, потому что чувствовать было некогда. Сиделка на сутки стоила почти как половина её зарплаты, сиделка на полдня означала, что вторую половину дня мать снова остаётся одна, с плитой, водой, газом, открытой дверью, со всем тем, что теперь стало смертельным. Оставить мать на её Петроградской было нельзя. Перевезти к себе, значило впустить угасание в дом, поселить его за стеной, жить с ним бок о бок. Марина выбрала второе, потому что первого не было.

Вещи матери, те немногие, что взяли, уместились в две сумки и коробку: одежда, лекарства, старые фотографии, любимая чашка с отбитой ручкой, из которой мать пила полвека. Всё остальное осталось в запертой квартире на Петроградской ждать неизвестно чего, так же, как ждала неизвестно чего вся прежняя, отдельная жизнь Тамары Ивановны.

Дашину комнату отдали бабушке. Так было правильнее, там окно во двор, тихо, старому человеку спокойнее. Марина сказала это Даше вечером, коротко, уже решив, не спрашивая, потому что спрашивать было не о чем, выбора не было и тут. Даша выслушала, поджав губы, молча собрала своё и перебралась на раскладной диван в гостиной, где ни угла своего, ни двери, которую можно закрыть. И не сказала ни слова. Это молчание было громче любого скандала, Марина знала это, чувствовала спиной, но у неё уже не осталось сил его расслышать. Она складывала теперь всё, что не помещалось внутри, в одно тёмное место, которое называла про себя «потом». Потом поговорю с Дашей. Потом разберусь с квартирой. Потом посплю. Потом поживу. «Потом» разрасталось в ней, как чулан, куда годами заталкивают, не глядя, всё, на что нет времени, и однажды дверь такого чулана распаивается, и всё это обрушивается разом.

Дни склеились в один длинный, серый, без начала и конца. У Марины теперь было две работы и не было ни одной ночи. Днём офис, отчёты, Пал Палыч, Света, клиенты, вечером и ночью мать. Утром она вставала раньше всех, готовила, раскладывала таблетки, оставляла записки сиделке, которую всё-таки удалось найти на неполный день, немолодой, усталой женщине по имени Люба, приходившей к десяти и уходившей к шести, а между всем этим успевала быть матерью Даше, хотя Даша в матери словно бы больше и не нуждалась, только присутствовала за своей невидимой дверью.

Мать была то тихой и ясной и тогда это была прежняя мама, только испуганная, притихшая, будто чувствующая, как из-под неё уходит почва, то вдруг уплывала. Уплывала посреди разговора, посреди фразы, глаза делались ясными и чужими одновременно, и в них уже не было Марины, а было что-то давнее, чужое время, чужие люди. Она спрашивала, где отец, отец умер тридцать четыре года назад. Собиралась на работу, она не работала двадцать лет. Называла Марину чужими именами. Марина научилась не поправлять, не спорить, не тащить её силой обратно в сегодняшний день, который был для матери страшнее прошлого, научилась входить в это прошлое вместе с ней, поддакивать, вести за руку по коридорам ушедшего времени, как водят слепого. И это было, пожалуй, самое тяжёлое из всего, не мыть, не кормить, не поднимать по ночам, а вот это, соглашаться, что мир, который ты знаешь, для твоей матери уже не существует.

Хуже всего было ночью. Днём мать ещё как-то держалась в берегах, а к ночи берега размывало совсем. В два, в три часа она вставала и шла по тёмному коридору, шаркая тапками, ища. Искала всегда, то дверь, то маму, то давнюю комнату, которой в этой квартире никогда не было. Однажды Марина, вскинувшись от полусна на своё материнское чутьё, застала её у входной двери, мать возилась с замком, сосредоточенно, деловито, пытаясь открыть, уйти. Марина тихо подошла:

«Мам, ты куда?»

Мать обернулась и посмотрела на неё чужими, ясными, спокойными глазами, в которых не было ни капли узнавания:

«Мне к маме надо. Мама ждёт.»

Её мама умерла в семьдесят восьмом.

И вот тут, в тёмном коридоре, в третьем часу ночи, Марину пронзило то, чего она прежде не додумывала до конца, даже её мать, прожившая долгую жизнь, ставшая старухой, в самой глубине, там, куда отступает разум, когда всё остальное уже смыто, хочет только одного. Чтобы её кто-то держал. Чтобы к маме. Чтобы кто-то большой, тёплый, надёжный ждал и не отпускал. Все они, все до одного и дочь за своей дверью, и мать у этой двери, и бывший муж со своими полисами, и Света со своим ужасом в глазах, все хотели одного, опоры. И только у самой опоры мамы не было и, казалось, быть не могло.

Марина увела мать обратно, уложила, укрыла, села рядом на край кровати и держала её сухую руку, пока та не заснёт. А потом встала и пошла на кухню, не ложиться. Ложиться было незачем, в четыре всё равно придёт её собственный час, её прилив, и не имело смысла ложиться, чтобы через двадцать минут задыхаться в темноте, боясь разбудить дом.

За эти недели она постарела на несколько лет. Не морщинами, морщины дело медленное, наживное. Постарела чем-то в глазах, в том, как стала смотреть, тем особым, тусклым, отсутствующим взглядом человека, который держит на себе крышу и уже понял, знает наверняка, что рук на всю крышу не хватит, что не удержит, но опустить руки нельзя, потому что под крышей спят люди, и если крыша упадёт, упадёт на них.

Сломалось в четверг. Хотя «сломалось», не то слово. Не сломалось, а просто трещина, шедшая внутри год за годом, тихая, никому не видная, наконец дошла до края и вышла наружу.

Мать в ту ночь была особенно неспокойна. Звала, путала, металась, приняла Марину за какую-то Тоню, то ли сестру, то ли давнюю подругу и обиделась, по-детски, до слёз, что Тоня её не слушает, не понимает, бросает. Марина почти час уговаривала, гладила, поила водой из чашки с отбитой ручкой, пока мать наконец не затихла, не уснула, всё ещё всхлипывая во сне. Тогда Марина вышла на кухню, в начале пятого, вымотанная до дна, и привычно опустилась на край табурета, поставила босые ступни на холодный кафель. Ждать, пока отпустит. Переждать. Как всегда.

Но в этот раз не отпустило.

В этот раз сердце пошло вразнос совсем, не сбилось, а понеслось, спотыкаясь, налетая само на себя, воздух кончился весь, до последнего глотка и к горлу поднялось, поднялось и хлынуло то, что она держала в себе не месяц и не год, а всю жизнь, с девяти лет, с той комковатой каши. Она хотела встать и не смогла. Пол качнулся под ней, как палуба. Она сползла с табурета вниз, на этот самый холодный кафельный пол, за который так привыкла держаться босыми ступнями по ночам, и осталась на нём, на четвереньках, хватая ртом воздух, которого не было, и из неё пошли слёзы, впервые за очень, очень долгое время, безобразные, судорожные, но беззвучные, потому что даже сейчас, разваливаясь на куски на полу собственной кухни, она боялась одного, разбудить дом. Потревожить. Обеспокоить кого-нибудь своим весом.

Несущая стена сложилась беззвучно, в четыре утра, на кухонном полу.

«Мам?»

Даша стояла в дверях. Растрёпанная со сна, в огромной, до колен, футболке, встала попить или в туалет; и увидела мать на четвереньках на полу, задыхающуюся, мокрую от слёз.

И вот тут Марина, у которой не осталось уже ни сил, ни лица, ничего, приготовилась к самому страшному. Что дочь испугается. Что закричит, растеряется, заплачет. Что придётся сейчас же, вот в этом состоянии, вставать, брать себя в руки, успокаивать её, объяснять, что всё в порядке, что мама просто устала, держать, держать даже это, последнее, которого уже не было.

Но Даша не испугалась.

Даша быстро, без паники, опустилась рядом с ней на пол, на колени, на этот же холодный кафель, взяла её ледяные, дрожащие руки в свои тёплые и заговорила спокойно, ровно, буднично, как говорят о чём-то знакомом и совсем не страшном:

«Мам. Мам, это паническая атака. Всё, всё, я тут. Это не опасно, это сейчас пройдёт. У меня такие были в девятом, я знаю, как надо. Дыши со мной, смотри на меня. Вдох на четыре» раз, два, три, четыре. И выдох длиннее, чем вдох. Ещё раз. Смотри на меня, мам, вот так.

Марина смотрела на дочь. На эту семнадцатилетнюю, чужую, закрывшуюся, которую она, ей казалось, давно и безнадежно потеряла где-то за наушниками, за «отстань, а», за синим светом из-под двери. И которая, оказывается, всё это время рядом, за стеной, в своём отгороженном одиночестве, знала слово. Знала имя тому, чего сама Марина назвать не умела и потому боялась вдвойне. И теперь эта девочка сидела с ней на полу, в четыре утра, и держала её руки, тем же самым движением, каким когда-то, давным-давно, держала её саму, маленькую, в жару, в три часа ночи, считая ей вдохи, чтобы не плакала.

«Раз, два, три, четыре,» считала Даша. «Дыши, мам. Я тут. Я держу.»

«Я держу».

И Марина впервые за сорок три года, впервые с той минуты, как в девять лет стала кому-то опорой, позволила себя держать. Не поднялась, не собралась, не привела лицо в порядок. Просто передвинулась, села спиной к дверце кухонного шкафа, на полу, рядом с дочерью, и перестала держать. Хоть что-нибудь. Крышу, списки, лицо, весь мир. Отпустила и осела, как оседает стена, с которой наконец сняли перекрытия.

За окном ещё не начинало светать. За стеной, во сне, всхлипывала и звала свою давно умершую маму её собственная мать. А здесь, на кухонном полу, дочь держала мать, считая ей вдохи, и это было так неправильно, так наоборот, так навыворот всему, на чём Марина стояла всю жизнь, и вместе с тем так впервые, так ошеломляюще правильно, что Марина, дыша ещё через раз, всхлипывая, вдруг поняла, не умом, а всем обвалившимся своим существом, простую и страшную вещь, которую, кажется, знала всегда, с самого начала, но за сорок три года так ни разу и не разрешила себе узнать:

её тоже можно держать.

Надо было только один раз упасть так, чтобы это увидели.

Глава пятая. Первая ниточка

Утро пришло, как приходит после всего, просто пришло, будто ничего не было. Серый свет в окне, чайник, коробочка с крышечками. Марина встала с постели, в которую всё-таки легла под утро на пару часов, и с удивлением обнаружила, что колени всё ещё помнят холодный кафель, а внутри, как после долгой болезни, стоит странная, выскобленная, почти лёгкая пустота. Будто ночью из неё вылилось что-то, что она носила годами, и теперь на этом месте было просто тихо.

Мать проснулась ясной. Это было в её болезни самым милосердным и самым жестоким разом, утро часто заставляло Тамару Ивановну в разуме, и тогда это была прежняя мама; только уменьшившаяся, испуганная тем, что с ней происходит, но своя. И этой прежней маме, разумеется, не досталось ни крупицы памяти о минувшей ночи, ни о том, как она рвалась к своей умершей матери, ни о слезах, ни о Тоне, ни о том, как её дочь сложилась на кухонном полу. Ничего. Она сидела за столом, пила из чашки с отбитой ручкой и, поглядев на Марину, сказала с обычной своей заботливой, ничего не подозревающей нежностью:

«Что-то ты бледная, доченька. Синяя вся. Ты себя совсем не бережешь.»

И в этом было столько разом и любви, и слепоты, и той вечной, неистребимой готовности матери жалеть ребёнка, ничего при этом о ребёнке не зная, что Марина едва не рассмеялась и едва не заплакала одновременно. Ты себя не бережешь. Это говорила женщина, которая всю жизнь, сама того не понимая, приучила дочь себя не беречь, говорила искренне, от всего сердца, и была по-своему права, и это было невыносимо и смешно.

«Поберегусь, мам,» сказала Марина. «Обещаю.»

Даша собиралась в школу. После этой ночи между ними что-то неуловимо сдвинулось, не растопилось совсем, подростковую броню за одну ночь не снять, но чуть-чуть, на какой-то незаметный градус, потеплело. Уходя, Даша задержалась в дверях, с рюкзаком на одном плече, как всегда и, не глядя на мать, сказала:

«Мам. Ты сходи к врачу. К нормальному, к настоящему, не отмахивайся. Это само не проходит, я знаю. Я в девятом сама не ходила, думала, рассосётся,» было только хуже. «И, уже в дверях, тише, всё так же не оборачиваясь:» И это... ты держись, ладно. Не одна ты тут.

И ушла, хлопнув дверью, прежде чем Марина успела что-нибудь ответить, будто испугалась собственных слов.

Марина стояла в прихожей и держала эту неловкую, брошенную через плечо фразу «не одна ты тут», как держат что-то хрупкое, боясь уронить. За сорок три года никто ни разу не отправлял её к врачу. Никто ни разу не говорил ей «держись» и «ты не одна». Она была та, кто отправляет, кто говорит это другим. И вот теперь родная дочь, семнадцатилетняя, вчерашняя чужачка за закрытой дверью, сказала ей то, что всю жизнь говорила другим она.

В тот день Марина сделала то, чего не делала никогда.

Она набрала работу и сказала, что сегодня не придёт. И не стала, как всегда, врать про заболевшего ребёнка, про прорванную трубу, про сотню уважительных причин, которыми привыкла прикрывать саму мысль, что ей просто нужно. Она сказала правду: «Мне нужен день». Пал Палыч на том конце помолчал, удивлённо, потому что от Марины Сергеевны такого не слышали, и вдруг сказал совсем не то, чего она боялась: «Да конечно, Марина Сергеевна. Вы столько на себе тянете. Отдохните, ради Бога». И всё. Небо не упало. Отдел не рассыпался. Клиенты подождали. Оказалось и это было почти обидное открытие, что стену, которую она сорок лет подпирала собой из последних сил, преспокойно держали и другие стены, всё это время, рядом, просто она ни разу не решилась проверить, отойти, посмотреть, устоит ли дом без неё. Дом стоял.

Потом она сделала второе. Записалась к врачу. К своему, к терапевту, для себя. Впервые за, она честно попыталась вспомнить и не смогла, за столько лет, что и не сосчитать. И, диктуя

в трубку своё имя, свою фамилию, свою дату рождения, не мамину, не Дашину, свою, Марина вдруг, неожиданно для себя, заплакала. Тихо, без надрыва, уже не от ночного ужаса, а от чего-то совсем другого, чему у неё тоже пока не было имени. Кажется, оттого, что кто-то пусть безразличный голос в регистратуре, пусть за деньги, пусть по обязанности; записал наконец в тетрадку её. Её саму. Что где-то теперь есть строчка, в которой стоит не «дочь такой-то» и не «мать такой-то», а она, Марина, человек, у которого что-то болит и кто пришёл, чтобы этим занялись.

Это была ещё не опора. До опоры было далеко. Это была тонкая, первая, едва заметная ниточка. Но за неё Марина чувствовала это ясно, уже можно было тихонько, одним пальцем, держаться.

А вечером, укладывая мать, Марина впервые задала себе вопрос, который потом уже не отпускал её всю зиму.

Мать в тот вечер снова уплыла, ненадолго, неглубоко и, задремывая, перебирая сухими пальцами край одеяла, вдруг сказала тихо, кому-то, кого не было в комнате:

«Тонечка, не бегай там. Простудишься. Иди ко мне.»

Марина замерла. Тоня. Опять Тоня. Уже не в первый раз за эти дни. И вот тут, сидя в полутьме на краю материнской кровати, она поняла странную, оглушающую вещь, она не знает, кто это. Не помнит никакой Тони. За всю жизнь ни разу, ни от матери, ни от отца, ни от родни на редких похоронах, она не слышала этого имени. А мать произносила его так, как произносят имя ребёнка, с той особой, единственной интонацией, тёплой и тревожной, с какой зовут своих, маленьких, домой, со двора, к себе.

«Тонечка, не бегай. Иди ко мне».

Кого её мать звала домой из своего распадающегося прошлого? Чьё имя всплывало теперь, когда с памяти сходил, слой за слоем, весь верхний, приличный, прожитый вслух пласт жизни и обнажалось то, что было спрятано под ним, глубоко, десятилетиями? Марина смотрела на спящую, притихшую мать, на это родное, знакомое до последней морщинки лицо, за которым, оказывается, всю жизнь жил кто-то ещё, и впервые за сорок три года почувствовала, что не знает о собственной матери чего-то главного. Чего-то, что мать унесла было с собой навсегда и что теперь, теряя рассудок, начинала, сама того не ведая, отдавать.

Марина не спросила. В тот вечер, не решилась. Но имя осталось в ней, засело, как заноза. Тоня.

Кто такая Тоня?

Часть вторая. Трещина

Глава шестая. Название её жизни

В поликлинике Марина чувствовала себя самозванкой. Она привыкла сидеть в таких коридорах с матерью, с Дашей, держа чужую карту, чужую очередь, чужую тревогу, сидеть же тут ради самой себя было неловко, почти стыдно, будто она заняла чьё-то законное место. Пока выкликали её фамилию, она дважды успела подумать, что зря пришла, что ничего страшного, что справится сама, и оба раза осталась сидеть только потому, что перед глазами стояло лицо Даши в дверях и её «сходи, не отмахивайся».

Врач-терапевт оказался младше неё, лет тридцати пяти, и это почему-то смущало, трудно признаваться в слабости тому, кто годится тебе почти в сыновья. Он выслушал, померил давление, задал несколько вопросов и посмотрел на неё поверх монитора, внимательно, без спешки, что в поликлинике само по себе редкость.

«Паническое расстройство,» сказал он спокойно, будто называл погоду за окном. «На фоне истощения. Хронического. Скажите честно, вы вообще спите?»

«Как получается.»

«То есть нет.» Он что-то записывал. «Марина Сергеевна, я выпишу вам препарат, он снимет остроту, станет полегче. Но скажу прямо, иначе смысла нет, таблетка чинит симптом. А у вас не симптом. У вас образ жизни, при котором сломался бы кто угодно. Вы живёте так, будто один человек обязан нести вес нескольких. Тело какое-то время это тянет, а потом отказывается. Оно у вас, собственно, уже отказалось» просто вежливо, по ночам, чтоб никого не будить.

Марина слабо усмехнулась. Даже тело её, оказывается, было воспитано, как она сама, ломаться беззвучно.

«У меня нет выбора,» сказала она. Это была её любимая фраза, её пароль, её оправдание длиною в жизнь. «Мать, дочь, работа. Я не могу всё это бросить.»

«Бросить» нет, согласился он неожиданно легко. А переложить часть «можно. Разделить. Это разные вещи, а вы их всю жизнь путаете.» Он отложил ручку. «Понимаете, вокруг человека, который всё тянет сам, очень удобно жить. Настолько удобно, что никому и в голову не приходит спросить, а как он там, этот человек. Крыша ведь не спрашивает у стены, тяжело ли ей. Пока стена стоит, о ней вообще не думают» вспоминают ровно один раз, когда она падает. Вот и вас никто не замечал не потому, что все кругом злодеи. Просто пока вам плохо молча остальным хорошо. У тех, кто на вас опирается, есть тихий, честный интерес не видеть ваших трещин, ведь стоит их увидеть придётся слезать и стоять самим».

Марина молчала. Он говорил без осуждения, тем ровным голосом, каким ставят диагноз, а у неё внутри одна за другой осыпались какие-то давние несущие подпорки. Потому что это была правда, и правда не про других; про неё. Она сама выстроила вокруг себя мир, в котором было удобно на неё опираться. Сама приучила всех, что выдержит. И предъявлять им теперь счёт было бы нечестно, они брали ровно то, что она всю жизнь так щедро, так гордо им отдавала.

«А знаете, отчего человек вообще перестаёт что-либо понимать?» сказал вдруг врач, и это был уже не совсем врач, а просто не по годам уставший человек. «От покоя. Пока тепло и сыто, он не думает» незачем. Ум просыпается только там, где под ногами кончается пол. Вы вот сейчас, может, впервые за много лет думаете по-настоящему «потому что впервые испугались за себя. Так что паническая атака» штука мерзкая, но не бессмысленная. Иногда это единственный язык, на котором тело умеет сказать, что пора наконец пожить.

Он подписал рецепт и, не поднимая головы, прибавил:

«Вы привыкли, что опора» это вы. Но опора, которая держит всё одна, «не опора. Это то, что вот-вот рухнет. Настоящая стена никогда не стоит сама по себе. Даже несущая опирается на фундамент и делит вес с соседними. Одна она не держит ничего. Одна она просто дольше падает.»

Марина смотрела на этого мальчика в белом халате, который сам не знал, что только что, между давлением и рецептом, произнёс название её жизни.

Кроме рецепта, он дал ей листок с адресом.

«Группа поддержки. Для родственников» у кого близкие с деменцией. Сходите. Не лечиться, боже упаси, «просто побыть среди тех, кто тянет то же самое. Иногда это держит лучше любой таблетки. Человеку, чтобы не сойти с ума, надо хоть иногда видеть, что он не один такой сумасшедший.»

По дороге домой, застряв в пробке на мосту, глядя на серую, тяжёлую воду под серым небом, Марина всё прокручивала слова этого мальчика про крышу, которая не спрашивает у стены, про то, что пора наконец пожить. А где-то под этими словами, глубже, всё это время тихо ныло своё, ночное, Тоня. Мать снова звала её накануне, в темноте. Надо было наконец

сездить на Петроградскую, в запертую квартиру, давно надо, там без хозяйки стыли вещи, бумаги, старые счета. Но Марина уже понимала, что поедет туда не только за документами. Что будет искать. Хотя ещё не знала, что именно.

Листок с адресом группы она сложила и убрала в карман, к спискам, к чужим делам, к тому слою жизни, где всё было про других. Она была совершенно уверена, что не пойдёт. Всю жизнь она была той, к кому приходят, а не той, кто приходит. Сидеть в кругу чужих людей и рассказывать вслух про себя, про своё, про больное, нет, увольте, это не про неё. Она даже плакать научилась беззвучно, не хватало ещё делать это при свидетелях.

Она сходила через неделю.

Глава седьмая. «Мне тяжело»

Группа собиралась по средам, вечером, в комнате при поликлинике, самой обыкновенной казённой комнате с линолеумом, с графином на подоконнике, с десятком стульев, составленных в неровный круг. Марина пришла с твёрдым намерением сесть где-нибудь с краю, у стены, тихо посидеть, послушать и уйти, ни во что не ввязываясь. У стены. Ну конечно, у стены, где же ещё сидеть стене.

Их было человек десять, все разные и все одинаковые. Женщина её лет, с лицом, на котором усталость давно перестала быть выражением и стала просто чертой. Сухонький старик, ходивший за женой, с которой прожил полвека и которая теперь не помнила, как его зовут. Две сестры, деловито, почти весело обсуждавшие график дежурств у постели матери, потому что вдвоём и горе делится надвое, и это, кажется, было единственное их преимущество перед остальными. Молодой парень лет двадцати пяти, с лицом слишком взрослым для его возраста, у него угасал отец, и парень, кажется, ещё и пожить-то сам не успел, а уже хоронил. Всех этих людей держало вместе одно, у каждого дома медленно, неотвратимо уходил кто-то родной, а они оставались при нём, его памятью, его руками, его расписанием, его последней ниточкой к миру, из которого он выпадал.

Бела немолодая женщина-психолог; спокойная, с тем негромким, ненавязчивым присутствием, какое бывает у людей, много лет просидевших рядом с чужой болью и понявших, что боль не надо чинить, при ней надо просто быть. Она почти ничего не говорила. Только раз, в начале, обронила фразу, которую Марина потом долго вспоминала:

«Здесь можно не быть сильными. Сила ведь тоже бывает разной. Бывает сила, которая держит,» а бывает сила, которая не пускает. Первая помогает жить. Вторая просто не даёт упасть, но и жить не даёт тоже. Вот от второй мы тут потихоньку и отучаемся.

Говорили по очереди, кто хотел. Никто ничего не требовал.

Мужчина напротив, лет пятидесяти, с усталым, но не сломленным лицом, из тех лиц, что не молодятся и не сдаются, рассказывал про отца. Отец больше не узнавал его, звал братом, умершим сорок лет назад, и мужчина каждый раз послушно становился этим братом, потому что спорить было незачем, а отцу с братом было спокойнее. Он говорил ровно, без капли жалости к себе, и в конце сказал то, от чего у Марины что-то дрогнуло и осыпалось внутри:

«Знаете, тяжелее всего ведь не ухаживать. К уходу привыкаешь, руки сами всё делают. Тяжелее всего, что спросить не у кого. Все спрашивают, как папа? как папа, держится? А как я» не спрашивает никто. Я и сам, честно говоря, уже разучился задавать себе этот вопрос. Забыл, что он вообще есть на свете.

Марина смотрела в пол. Слово в слово. Это была её собственная жизнь, произнесённая чужим человеком, вслух, при всех, спокойно, буднично, как говорят о погоде. «А как я, не спрашивает никто».

Дошла очередь до неё. Психолог посмотрела мягко, без нажима:

«Вы у нас впервые. Хотите просто назовите себя. А можно и ничего не рассказывать, просто посидеть».

И Марина, которая пришла посидеть у стены и уйти, открыла рот, чтобы сказать что-нибудь короткое, приличное, ровное, как говорила всегда, всю жизнь, о чём угодно. И вдруг услышала свой собственный голос, сказавший совсем не то.

«Меня зовут Марина. У меня мама. Деменция, недавно. И...» Горло сжало так, что пришлось остановиться. Она сглотнула. И произнесла то, чего не говорила вслух ни разу за сорок три года «ни матери, ни мужу, ни дочери, ни даже себе, даже там, на кухонном полу» И мне тяжело. Мне очень, очень тяжело. Я так устала быть сильной. Я всю жизнь была сильной «и я больше не хочу. Не могу больше.»

Она сказала это и приготовилась к тому, что сейчас станет невыносимо стыдно, что все увидят её слабой, разжалованной из стены в обыкновенную плачущую, и что мир от этого как-то накренится и рухнет. Но мир не рухнул. В комнате было тихо. Никто не бросился спасать, утешать, чинить, советовать, говорить «ну что вы, вы же держитесь». Просто женщина, сидевшая рядом, молча положила ей руку на плечо тёплую, тяжёлую, ничего не требующую руку. А мужчина напротив, тот самый, кивнул не жалея, а узнавая, как кивают своему. И Марина, к собственному ужасу и облегчению, заплакала открыто, некрасиво, при всех этих чужих людях, и ничего страшного не произошло. Стена призналась, что ей тяжело, и небо не упало на землю. Оказалось, можно.

И странное дело, плакать при них было почему-то легче, чем беззвучно, одной, ночью, на кухне. Оказалось, беззвучность, вовсе не сила. Беззвучность просто одиночество, которое ты сам себе назначил и назвал гордым словом.

После, в коридоре, тот мужчина подошёл к ней. Не приставая, не утешая; просто подошёл, держа два бумажных стаканчика с водой из кулера.

«Андрей,» сказал он и протянул один. «Держите. Первый раз всегда так, это нормально, даже хорошо.» И, помолчав, глядя куда-то в тёмный двор за окном: «Вы хорошо сказали. Про «устала быть сильной». Я вот двадцать лет за отцом хожу и двадцать лет не мог этого выговорить. А вы» сразу, с первого раза. Значит, давно копилось.

«А вы... как держитесь?» спросила Марина и сама удивилась вопросу. Странно было спрашивать такое у чужого. Ещё странней «что спрашивала она. Всю жизнь спрашивали у неё, сама она не спрашивала, кажется, никогда.»

«Да никак особенно,» он усмехнулся, необидно, устало. «Просто в какой-то момент перестал делать вид, что я скала. Скала ведь хорошо смотрится, пока на неё не обопрёшься по-настоящему. А обопрёшься, оказывается, одна она не держит ничего, у неё у самой ноги подкашиваются. Вот и хожу теперь сюда. К людям. Оказалось, можно не быть скалой. И живёшь дольше».

Он допил воду, смял стаканчик, попрощался кивком и ушёл. И не попросил ничего, ни телефона, ни помощи, ни сочувствия. Ничего. И это было так непривычно, так странно, человек, которому от неё решительно ничего не нужно, что Марина ещё долго стояла у кулера с пустым стаканчиком в руке, не понимая, что за незнакомое, забытое чувство поднимается в ней. А чувство было простое, только очень давнее, из тех, что она не испытывала, кажется, с юности, рядом только что побыл кто-то, кому не надо было держать её крышу, и кому не надо было, чтобы она держала его.

Ровня. Впервые за очень, очень долгое время, просто ровня.

Домой она ехала в ту ночь другой, опустошённой и странно облегчённой, будто из неё вынули камень, который она столько лет принимала за собственный позвоночник. И в этой непривычной пустоте, в этой тишине внутри, снова, отчётливо, всплыло то, другое, неназванное. Если можно, оказывается, произнести вслух своё «мне тяжело», молчавшее в ней сорок три года, то, может, пора произнести вслух и тот второй, чужой немой вопрос. Тоня. Мать

молчала о ней всю жизнь; так же, как сама Марина всю жизнь молчала о том, что ей тяжело. В каждой семье, подумала Марина, есть своя несущая стена молчания, и стоит она ровно до тех пор, пока кто-нибудь наконец не решится сказать вслух первое запретное слово.

Она решила, в эти выходные едет на Петроградскую. И больше не станет притворяться, даже перед собой, будто едет всего лишь за документами.

Глава восьмая. Жестяная коробка

В субботу Марина оставила мать на весь день с сиделкой Любой, Дашу на хозяйстве, и поехала одна на Петроградскую, в квартиру, где выросла и где давно уже не была по-настоящему, не наездом на полчаса, а вот так, надолго.

Квартира встретила её тем особенным холодом и той особенной тишиной, что поселяются в жилье, из которого ушёл человек. Пахло пылью, старой бумагой, нежилым. На столе стояла забытая чашка, на спинке стула висел мамин хала, настенные часы стояли, показывая какое-то давно прошедшее время. Всё здесь замерло в той минуте, когда хозяйку увезли, как замирает, говорят, комната, из которой вынесли покойника, ещё сохраняя форму его отсутствия.

Марина начала, как и собиралась, с бумаг, с ящиков серванта, где мать по старой советской привычке держала документы, паспорта, квитанции, пожелтевшие сберкнижки, домовые книги. Она перебирала их методично, откладывая нужное, и незаметно для себя погружалась не столько в бумаги, сколько в то, что за ними стояло, в собственное детство, разлитое по всей этой квартире, в каждом её углу.

Вот здесь, у этого окна, отец сидел по вечерам, всё дольше, всё молчаливее, с той рюмкой, которую сначала прятал, а потом прятать перестал. Он пил тихо, обречённо, как пьют не от радости, а от какой-то незаживающей внутри пустоты, и однажды зимой, когда Марине было девять, просто не проснулся. Ей сказали «сердце». Может, и правда сердце, у таких людей в конце концов всегда болит сердце, потому что душа болеть уже устала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.